

Правда — дочь времени.

Пословица

1

Грант лежал на высокой койке, заправленной белоснежным бельем, и смотрел в потолок. Смотрел, надо сказать, с отвращением, потому что уже давно мог бы с закрытыми глазами перечислить все трещины, из которых составил карту с реками, островами и континентами для своих нескончаемых мысленных путешествий. Он постоянно задавал себе самые разные задачки, искал спрятанные на чистом потолке лица людей, фигурки птиц и рыб. Делал в уме сложные математические расчеты и вновь открывал для себя мир детства. У него отняли все, кроме потолка, и он возненавидел его лютой ненавистью.

Не выдержав, Грант попросил Пигалицу как-нибудь передвинуть кровать, чтобы он мог заняться другой частью потолка, но оказалось, что это непоправимо нарушит симметрию в палате, а в больничной системе ценностей симметрия незначительно уступает чистоте, зато стоит на много выше сострадания. А вот что вне всякой конкуренции, так это невежество.

— Почему бы вам не почитать? — спросила Пигалица. — Смотрите, сколько новых дорогих книжек!

— На земле слишком много людей, и почти все что-нибудь пишут. Каждую минуту типографские машины печатают бог знает сколько миллионов слов. Ужасно!

— Похоже, у вас опять начинается запор, — задумчиво произнесла Пигалица, которую на самом деле звали сестрой Ингхэм.

Грациозное создание ростом пять футов и два дюйма, похожее на ожившую статуэтку из мейсенского фарфора. Поднять ее Грант мог бы одной рукой, будь он на ногах, и его унижало даже не то, что Пигалица указывала ему, что и когда делать, но тот факт, что она крутила его, мужчину под шесть футов. А матрасами она манипулировала с беззаботной грацией жонглера. В отсутствие Пигалицы Грант переходил во власть Амазонки, богини с руками, напоминавшими ветви бука. Амазонка, или сестра Даррелл, была родом из Глостершира и каждую весну, когда зацветали нарциссы¹, изнывала от тоски по дому. (Пигалица же выросла в Литаме, в приюте Святой Анны, и не оставила места в своей жизни такой чепухе, как

¹ Нарцисс — национальная эмблема валлийцев. —
Здесь и далее примеч. пер.

нарциссы.) У Амазонки были большие ласковые руки, большие ласковые коровьи глаза, с лица не сходило жалостливое выражение, при малейшем физическом усилии она начинала пыхтеть, как испорченный насос, — и все-таки ощущать себя невесомой пушинкой менее унижительно, чем неподъемной колодой.

Порученный заботам Пигалицы и Амазонки, Грант был прикован к кровати, потому что провалился в люк. И это тоже было унижением, естественным следствием которого стало пыхтение Амазонки и грациозные манипуляции Пигалицы. Падение в люк — величайшая глупость со всех точек зрения. Тогда Грант уже почти догнал Бенни Скола, но провалился в люк, и сейчас лишь мысль, что, ускользнув от него, Бенни напрямик попал в объятия сержанта Уильямса, несколько утешала сыщика.

Судья дал Бенни всего три года, к великой радости его клана, а хорошим поведением он может уменьшить и этот срок, тогда как в больнице, как себя ни веди, пролежишь, сколько положено.

Грант перевел взгляд с потолка на стопку книг в ярких обложках, о которых ему постоянно напоминала Пигалица. Верхняя, с прелестной фотографией молодой женщины в чем-то неправдоподобно розовом, содержала очередной ежегодный отчет Лавинии Фитч о страда-

ниях героини, совершенной во всех отношениях. Судя по тому, что фоном для красавицы на обложке служил большой порт, нынешняя Валерия (Анжела, Сесилия или Дениза) была женой капитана.

«Пот и пахота» — опус в семьсот страниц Сайласа Уикли, вечно озабоченного тем, как бы его не обвинили в хорошем вкусе. Грант пробежал глазами несколько фраз и еще раз убедился в том, что Уикли есть Уикли: женщина лежит в комнате наверху и рождает одиннадцатого ребенка, ее муж лежит в нижней комнате со времени появления на свет девятого дитяти, старший сын, накачавшись спиртным, лежит в хлеву, старшая дочь лежит с любовником на сеновале, все остальные лежат в сарае. Протекает соломенная крыша, от навозной кучи поднимаются зловонные пары. Что-что, а навоз Сайлас никогда не забывает, и не его вина, что пары поднимаются вверх. Если бы ему показали пар, уходящий в землю, он бы и это описал.

Под книжкой Сайласа — упакованное в брошюрованную обложку сочинение Руперта Ружа «Колокольчики на башмаках», смесь эдвардианских изысков с причудами барокко. Остроумие, с которым автор живописует порок, поначалу вызывает у читателя безудержный смех, но уже на третьей странице становится ясно, что Руперт — послушный ученик Джорджа Бернарда

Шоу и пользуется приемом парадокса, открытым классиком, как самым простым и выгодным способом прослыть остроумным. Дальше читать неинтересно.

Зеленая ночь, красная вспышка выстрела — на обложке последней книжки Оскара Оукли. Бандиты у него цедят слова сквозь зубы, но слова эти, заимствованные из американских триллеров, не в силах выразить ни мысль, ни чувство, зато автор выдает полный набор блондинок, кастетов, головокружительных погонь и прочей чуши.

«Случай с пропавшим консервным ножом» Джона Джеймса благодаря юридическим ошибкам на первых двух страницах доставил Гранту несколько приятных минут, в течение которых он мысленно составлял автору язвительное письмо.

А вот о чем тоненькая голубая книжка в самом низу стопки, Грант никак не мог вспомнить. Кажется, что-то реальное, без художественных выкрутасов. О мухах цеце, о калориях, о сексе? Но даже тут все известно заранее. Неужели нет автора, который не следует раз и навсегда найденной формуле? Неужели никому больше не хочется хоть изредка менять пластинку? Конечно, авторы знают, чего ждет от них публика, которой подавай «еще одного Сайласа Уикли» или «еще одну Лавинию Фитч», словно какой-

нибудь «новый кирпич» или «новую щетку для волос». Публике не нужна настоящая новизна. Она знает, чего хочет.

Отведя утомленный взгляд от пестрой стопки, Грант подумал, что неплохо бы перекрыть книжный поток минимум лет на двадцать. Или, например, ввести мораторий на романы. Или дать задание какому-нибудь Супермену изобрести луч, который остановит всех писателей. Тогда уж человеку, прикованному к постели, никто не пришлет подобной чепухи и очаровательной мейсенской статуэтке не придет в голову требовать, чтобы он эту чепуху читал.

Услышав, что открывается дверь, Грант не только закрыл глаза, но и мысленно отвернулся к стенке. Кто-то уже стоял возле него, но он решил быть непоколебимым, не желая ни глостерширского великодушия, ни ланкаширского жизнелюбия.

В затянувшемся молчании Грант вдруг ощутил едва уловимый чарующий аромат. Он поспешил его и задумался. От Пигалицы пахло лавандой, от Амазонки — мылом и йодоформом, а этими духами «Энклос нумеро синк», несущими в себе полузабытый аромат всех полей Грасса, пользовалась только одна из его знакомых — Марта Халлард.

Грант приоткрыл один глаз. Так и есть. Марта наклонилась над ним посмотреть, спит он

или нет, и в этой несколько неуверенной позе (если с Мартой вообще хоть как-нибудь сочетается слово «неуверенная») она разглядывала стопку совершенно новеньких нечитанных книг. В одной руке у нее были еще две книги, в другой — огромный букет белой сирени, и Грант задумался: принесла она сирень потому, что лишь ее считала достойной для украшения жилища в зимнюю пору (сирень царила в ее театральной гримерной с декабря по март) или же цветы просто гармонировали с ее бело-черным туалетом. Марта показалась ему настоящей парижанкой, и, к счастью, в ее облике не было ничего от больницы.

— Я тебя разбудила, Алан?

— Нет, я не спал.

— Кажется, я принесла тебе то, что у тебя и так в излишке, — сказала она, пристраивая новые книги рядом с уже отвергнутыми. — Надеюсь, этим повезет больше. Неужели даже наша прелестная Лавиния тебя не увлекает?

— Не могу я читать.

— Очень болит?

— Очень. Только не нога и не спина.

— Тогда что?

— Как говорит моя кузина Лора, меня замучили колючки скуки.

— Бедняжка Алан! А Лора права. — Марта вынула нарциссы из слишком большой для

них вазы и жестом, исполненным изящества, положила их в раковину, после чего поставила на их место сирень. — Конечно, хотелось бы, чтобы скука была великой усыпительницей. Но... она не более чем глумливая букашка.

— Букашечное пустое место. Глумливое ничто. А ощущение, будто меня хорошенько отхлестали крапивой.

— Может, тебе что-нибудь попринимать?

— Чтобы стало ясно на душе?

— Чтобы проветрить мозги и заодно поднять настроение. Послушай, а не заняться ли тебе философией? Йогой, например? Хотя с твоим аналитическим умом вряд ли ты склонен к абстрактным построениям.

— Я уже думал об алгебре. У меня всегда было чувство, что в школе я мало ею занимался. Но я, кажется, слишком увлекся геометрией, изучая этот чертов потолок. Пожалуй, надо немного отдохнуть от математики.

— Ну а как насчет кроссвордов? Могу принести тебе целую книжку.

— Боже упаси.

— Ты мог бы и сам их составлять. Я слышала, это гораздо забавнее.

— Может быть. Но в каждом словаре несколько фунтов веса, и вообще я ненавижу справочники.

— В шахматы ты играешь? Что-то не помню. Не хочешь порешать шахматные задачки? Белые начинают и ставят мат в три хода.

— Шахматы я всегда любил чисто эстетически.

— Эстетически?

— В них все очень красиво. Слоны, пешки... Очень изысканно.

— Вот и прекрасно. Я принесу тебе... Ну хорошо, хорошо, оставим шахматы в покое. Попробуй решить то, что до сих пор никому не удавалось.

— Ты подумала о нераскрытых преступлениях? Я знаю их все назубок, и ни в одном нельзя сделать сверх того, что уже сделано, тем более в моем положении.

— Да нет, при чем тут архивы Скотленд-Ярда? Я подумала, как бы получше сказать, о более классическом случае, о таком, что изумляет мир уже не одно столетие.

— Например?

— Скажем, письма из шкатулки.

— Нет, нет, только не Мария Шотландская!

— Почему? — спросила Марта, которая, как все актрисы, не могла устоять перед белой вуалью Марии Стюарт.

— Потому что меня еще могла бы заинтересовать порочная женщина, но глупая — никогда.

— Глупая? — Именно таким голосом Марта произносила монологи Электры.

— Очень глупая.

— Ах, Алан, зачем ты так?

— Носи она другой головной убор, никто бы о ней и не вспомнил. Именно ему она всем обязана.

— Ты думаешь, в панаме она любила бы менее страстно?

— Она вообще никогда не любила, тем более страстно.

Грант понял, что только долгие годы, проведенные в театре, и забота о лице, над которым она трудилась не меньше часа ежедневно, не позволили Марте выразить все ее возмущение.

— Интересно почему?

— В Марии Стюарт было шесть футов, а слишком высокие женщины редко бывают сексуальны. Спроси любого врача.

И тут Грант задумался, почему все эти годы — с тех пор как Марта записала его в свой резервный эскорт, — ему ни разу не пришлось в голову соединить ее пресловутую уравновешенность с ее ростом. К счастью, Марте было не до параллелей, поскольку ее мысли были поглощены любимой королевой.

— Так, может быть, она и мученицей не была?

— Мученицей чего?

— Веры.

— Она была мученицей своего ревматизма. Выходя замуж за Дарнлея, она обошлась без разрешения папы, а бракосочетание с Босуэлом проходило по протестантскому обряду.

— Сейчас ты скажешь, что она и пленницей не была.

— Беда в том, что тебе мерещится комнатка с зарешеченными окошками где-нибудь на чердаке и преданная старушка, которая постоянно молится вместе с королевой. А на самом деле у нее сначала была свита в шестьдесят человек, и она ужасно переживала, когда ей оставили «всего» тридцать человек, да и потом чуть не умерла от огорчения, оставшись с двумя секретарями-мужчинами, несколькими служанками, вышивальщицей и парочкой поваров. Кстати, Елизавета платила им из собственного кошелька. Она платила двадцать лет, и двадцать лет Мария Стюарт торговывала шотландскую корону любому европейцу, готовому начать революцию и вернуть ей трон, который она потеряла, а если повезет, то и трон Елизаветы.

Грант взглянул на Марту и удивился тому, что она улыбается.

— Теперь их меньше? — спросила она.

— Кого?

— Колючек.

Он рассмеялся:

— О да. Я не вспоминал о них целую минуту. Все-таки одно доброе дело, которое можно записать на счет Марии Стюарт.

— Откуда ты о ней столько знаешь?

— Когда-то, еще в школе, писал эссе.

— И она тебе не понравилась?

— Мне не понравилось то, что я о ней узнал.

— Ты не считаешь ее трагической личностью?

— Как раз считаю, только совсем по другой причине. Ее трагедия в том, что она, королева, родилась со взглядами провинциальной домохозяйки, которой хочется одержать верх над миссис Тюдор с соседней улицы. В сущности, нет ничего забавнее и безобиднее. Такое может привести разве лишь к тому, что окажешься по уши в долгах, но это уж кому как нравится. Если же подобной домохозяйке подвластно целое королевство, беда неминуема. Отдавать в заклад страну с десятиллионным населением ради того, чтобы одержать верх над королевой-соперницей! Неудивительно, что Мария Стюарт печально закончила свою жизнь, — сказал Грант и замолчал, что-то обдумывая. — Она была бы лучшей на свете учительницей в школе для девочек.

— Что ты говоришь!

— Я не имел в виду ничего плохого. Коллеги бы ее любили, дети обожали. Она занимала не свое место, и в этом ее трагедия.

— Ладно-ладно. Не хочешь, не надо. Какие там еще у нас исторические загадки? Железная маска?

— Ничего не помню, но человек, не сорвавший с себя жестянку, меня не интересует. И вообще меня не интересует человек, лица которого я не вижу.

— Ах да. Как это я забыла о твоей страсти к лицам? Кстати, у Борджиа есть замечательные лица, и ты мог бы найти для себя не одну задачку. А Перкин Варбек? Толкаешь его туда-сюда, а он все на месте. Помнишь, есть такая игрушка?

Дверь приотворилась, и в проеме показалось родное лицо и неизменная, а потому тоже ставшая родной шляпка миссис Тинкер, которую Грант помнил со времени своего первого появления в ее доме. Он просто не представлял свою домоправительницу в другой шляпке, хотя знал, что у нее есть еще одна, потому что она иногда упоминала о «моей синей шляпе», но то было нечто необыкновенное во всех смыслах, и на Тенби-Корт в доме № 19 миссис Тинкер в ней никогда не появлялась. Синяя шляпка служила мерилom значительности происходящего, и миссис Тинкер надевала ее в особых случаях. («Вам понравилось, Тинк? Как там было?» — «Нет, не стоило надевать синюю шляпу».) Она надевала ее в день